

Александр К. Жолковский

6½

„Игорь, прими эти шесть с половиной вишенок (за половину считаю последнюю, в модном ныне жанре «72 слова»), по одной на каждое десятилетие и на каждую из граней твоей личности – неконформистской, полемистской, психоаналитической, эксгибиционистской, обценно-философской, филологической и экспатриантской.“

20 марта 2006
г.Санта-Моника

1. На языке

Когда я поступил в Университет (1954), слово «оттепель» было уже произнесено и постепенно одевалось плотью. На романо-германском отделении это чувствовалось. Деканом был Р.М. Самарин, старавшийся прикрыть свою печальную антисемитскую известность образца 1949 года нарочито свойскими манерами, как бы из Боккаччо (он читал нам литературу Возрождения). Проходя по коридору третьего этажа, толстый, плешивый, с трубкой в зубах, он мог собственными руками раскидать дерущихся первокурсников, чтобы уронить через плечо патерналистское: «Школяры!..».

Однажды в этом коридоре, около вешалки, мне выпало стать удивленным свидетелем его разговора на равных со студентом необычного вида. Щуплый, белокурый, бледный, в толстых очках, сильно увеличивавших его маленькие глазки с нездоровыми веками, он был импозантно одет – пиджак, жилет, галстук – и явно наслаждался спором. Речь шла о некоем Дольберге, аргументы с обеих сторон не иссякали, и тогда Самарин, по-гаерски закрыв дискуссию чисто силовым: «Что и требовалось доказать, Бочкарев!», победно удалился.

Оказалось, что о Дольберге на факультете знали многие, но говорили не вслух, а заговорщическим полупшепотом. Александр (Алик) Дольберг, студент романо-германского отделения, поехал в Англию с одной из первых туристических групп, сбежал и стал невозвращенцем, а вскоре и сотрудником русской службы БиБиСи. (*Есть такой обычай на Руси – вечерами*

слушать БиБиСи, гласила интеллигентская мудрость.) Скандальной славе Дольберга способствовала фонетическая перекличка фамилий с почитаемым комментатором той же станции А.М. Гольдбергом, которого в кругах московских пикейных жилетов принято было панибратски-конспиративно называть по имени отчеству («Да? А вот Анатолий Максимович полагает, что Голда Меир ...»).

Дальнейшие детали о побеге моего тезки я узнал не от кого иного, как Бочкарева. Познакомились мы в ходе факультетской постановки – «на языке» – нескольких сцен из «Пигмалиона». Бернард Шоу был борцом за мир, другом Советского Союза и потому дозволенным автором. Труппа состояла из старшекурсников во главе с Володей Бочкаревым, и они пригласили меня на роль профессора Хиггинса. (Выбирать им особенно не приходилось – лиц мужского пола, приличного роста, говорящих по-английски, на филфаке было раз, два и обчелся.) Когда дошло до генеральной репетиции, мы поехали в какую-то театральную мастерскую, и нам выдали реквизит – костюмы, платья, шляпы; я получил темно-коричневый шлафрок со шнулочками и продолговатыми деревянными пуговицами.

Лидерство Бочкарева объяснялось просто. Будучи сыном советского дипломата, выросшим в Лондоне и Нью-Йорке, и прирожденным полиглотом, он виртуозно владел английским – литературным, разговорным, бруклинским, тexasским, королевским, кокни, *you name it*. Сначала я его стеснялся, но Володя оказался застенчивым, ранимым юношей, покушавшимся на самоубийство, и охотно проводил со мной – смотревшим ему в рот новобранцем – массу времени. Он привел меня в букинистический магазин иностранной книги на Никитской и мог бесконечно ходить по городу, рассказывая о Нью-Йорке, неведомых американских авторах (от него я впервые услышал имя Микки Спиллейна) и факультетских знаменитостях.

Он знал не только Дольберга, но и его отца, отставного кагэбэшника. (Возможно, отцовские связи и помогли Дольбергу с выездом в капстрану.) Шум по поводу побега еще не улегся, как отец стал звонить в Институт мировой литературы, в сектор, где Алик подрабатывал каталогизацией англоязычных изданий.

– Говохит стахший Дольбехг. Мой сын недополучил у вас деньги...

Взявшая трубку сотрудница в ужасе залепетала, что ничего сказать не может и позовет заведующую. Но и та растерялась:

– Вы знаете.. я не знаю... понимаете... дело щекотливое...

– Чего там щекотливэ, – у меня довьехенность есть...

Деньги были дополнены.

Наша постановка имела успех. Играл я, полагаю, так себе, но, натасканный Пигмалионом-Бочкаревым, сумел по-британски озвучить знаменитую

реплику Хиггинса в той сцене, где оскорбленная вопросом о шлепанцах Элайза, утратив свежеприобретенный лоск, выпаливает неграмотное *them slippers*, а Хиггинс поправляет ее: *those slippers*.

Элайзу играла студентка на курсе старше меня. В ее русской речи слышались какие-то странные обертоны, и я гадал, не это ли определило Володин выбор. (В дальнейшем она стала сотрудницей американского сектора ИМЛИ, и мы неожиданно встретились десятилетия спустя, когда в составе советской делегации она приехала в исследовательский центр в Северной Каролине, где я был на стипендии.)

Тот театральный опыт остался в моей жизни уникальным. Вспоминается он часто – при попытках изобразить британский акцент, при очередном вхождении, после долгих каникул, в амплу профессора и чуть ли не на каждом докладе, отягченном неизбывным русским акцентом, – особенно с тех пор, как, выходя с престижного лосанджелесского семинара, участники которого, исключительно выходцы из России, изъяснялись изо всех сил по-английски, Юра Цивьян сказал, что больше всего это напоминало спектакль на языке в советском педвузе.

Володя Бочкарев был одним из предтеч той сладостной новой эпохи, когда язык стал худо-бедно доводить до Киева, но, как водится у предтеч, войти в нее ему было не суждено. После спектакля я потерял его из виду, а вскоре узнал, что он покончил самоубийством.

2. Черное и белое

Об М. у меня множество историй, в основном таких, что не только в основном тексте вишенок, но даже в Указателе имен я не всегда прописываю ее фамилию. Есть, однако, и сравнительно вегетарианские.

Во время иерусалимской конференции по пост-коммунизму (весна 1998 г.) ее организатор и наш с М. общий друг Дима Сегал повез нас на телевидение, чтобы мы рассказали русскоязычным слушателям об этом форуме. Посторонние детали опускаю (хотя как можно забыть, что сначала она хвасталась своим кремлевским пропуском за подписью Ельцина, а потом не могла скрыть досады, что ее гримировали минут десять, а меня всего одну?!). Еще в такси туда (а ехали, вернее, стояли в пробках, долго), я заговорил об отсутствовавшем на конференции завкафедрой русской литературы Семене Шварцбанде. Кажется, он был на стипендии в Париже, меня же беспокоило, как обстоит дело с публикацией отданной ему в сборник статьи. Но каждый раз, как я произносил его имя, М. начинала шикать, толкать меня в бок (мы с ней и Диминой молодой женой Ниной сидели сзади, а сам Дима рядом с водителем) и вообще всячески заглушать мою речь. Я недоумевал, что происходит, начинал снова, но снова подвергался

непонятной обструкции. Наконец, видя, что я не отступаю, М. стала полупшепотом проговаривать что-то вроде: «Дело такое деликатное, личное, как ты не понимаешь, зачем ты об этом?», многозначительно поводя глазами и плечом в сторону Диминой спины.

Отказываясь поверить, что имеет место невысказанная ситуация превосходства М. над кем-либо по линии деликатности, я задумался, в чем же может быть дело. Ответ, для всякого, знавшего хотя бы немного о русской кафедре Еврейского университета, напрашивался. В свое, к этому моменту уже плюсквамперфектное, время Димины жена Елена Толстая, мать двоих его детей, ушла от него к начинающему филологу Михаилу Вайскопфу. Буря в стакане воды была большая, но давно улеглась, дети выросли, Вайскопф напечатал много книг, Дима женился снова, все поросло быльем, и через пару дней, на заключительном банкете в честь Диминого 60-летия в рамках той же конференции были и Лена, и Миша, и их дети. Сообразив, что к чему, я получил возможность закончить партию матом в один ход:

– М., ты, как всегда, выдаешь черное за белое! Шварцбанд – не Вайскопф!

3. О нелюбви

Однажды в молодости я пожаловался приятелю, что такой-то меня не любит. То ли меня, то ли мои сочинения. Приятель спросил: «А он тебе нравится?» – «Нет». – «Так как же ты хочешь нравиться тому, кто не нравится тебе?»

Он был, конечно, прав, и я этот урок запомнил. Урок тем более полезный, что нелюбви в мире гораздо больше, чем любви. Как писал поэт: *И этот мне противен И мне противен тот И я противен многим Однако всяк живет.*

Но одно дело, когда тебя не любят в порядке взаимности, и совсем другое, когда нелюбовью отвечают на твою любовь. Это урок гораздо более отрезвляющий, и его мне преподнес тот же приятель.

Я всю жизнь любил его, а он меня нет, во всяком случае, не всю жизнь. Я все делал, чтобы заслужить его любовь, но успех имел далеко не пропорциональный своим усилиям.

Тогда я тоже разлюбил его, – выражаясь по-хемингуэевски, сначала постепенно, а потом сразу. Так сказать, выучил и этот его урок. Но удивляться, как же так, я его любил, а он меня нет, не переставал.

Но в конце концов я разобрался и с этим, почти самостоятельно.

Как уже говорилось, нелюбви в мире больше, чем любви. Противен мне и этот, противен мне и тот... В частности, мне очень неприятен один

старый коллега, и я даже позволил себе выразить это в печати. Ну, не буквально это, но все-таки взял и публично лягнул его.

Он обиделся и дал мне это понять. И некоторые общие знакомые стали говорить мне, что я поступил нехорошо. И я задумался о своем поступке и его мотивах.

Ну, мой выпад был, может, и несправедлив, но остроумен, да и претендовал не столько на правду, сколько вот именно на словесный блеск. Так что я не сдавался.

Но вслушиваясь в возражения друзей и раздумывая о своем отношении к этому коллеге, я должен был признать, что он ни в чем передо мной не виноват, моих нападков ничем не заслужил и вообще всегда хорошо ко мне относился и делал мне только хорошее. И другим тоже. И вообще был кристалльным, ну, может быть, немного чересчур кристалльным, человеком. Тем не менее, он никогда мне не нравился, и чем дальше, тем больше.

И тут меня осенило, что я, наконец, разгадал загадку, над которой так долго ломал голову. Я не любил его так же, как меня не любил мой многолетний приятель, — беспричинно, несправедливо, неблагодарно, и совершенно искренно. Так искренно, так нежно, как нелюбимым был другим.

4. Дисбаланс

Это была самая большая и красивая в моей жизни женская грудь, достойная кисти Рубенса, Бабеля и Бёрджесса (придумавшего *big goodies*). Роман с ее держательницей расстроился после нескольких месяцев хорошо отлаженной челночной связи (я выезжал вечером, когда транспортный поток спадал, и в середине ночи возвращался по совершенно уже пустому фривею, с ветерком укладываясь в полчаса) — из-за элементарной культурной нестыковки, опрокинувшей образцовую в остальном мопассановскую конструкцию. Дискурс подвел.

Мы случайно встретились у общих знакомых. В синей блузке, красных брюках и сапогах на высоком каблуке, с медно-красным лицом, решительным еврейским носом и расширенными, как бы близорукими глазами, она выглядела очень желанной. Я не обманулся. У нее оказалась гладкая кожа, крепкая, немного узкая в бедрах, фигура и запас энергии, который было одно удовольствие исчерпывать.

К своему телу она относилась с американской рачительностью, следя за диетой, принимая витамины (сугубо *organic*) и занимаясь спортом (плавание, джоггинг). В первый же вечер у нее дома я заметил на ее босых ногах, у самых щиколоток, что-то вроде гантелей. Она объяснила, что так исподволь наращиваются мышцы ног. Меня ее ноги вполне устраивали, и я опять констатировал действие неофитского американизма. (Она перебра-

лась в Штаты, выйдя за американца, из инженеров переквалифицировалась в бухгалтеры, работала в финансовом отделе большой фирмы, по примеру сослуживцев, обычно с отрицательным сальдо, вкладывала деньги в ценные бумаги, наше обоюдное вожделение старалась уравновесить разговорами о *long-term relationship*, ну и так далее.)

Груды были настоящие, одновременно мягкие и упругие, вызывающе живые, не отягощенные никакими посторонними идеями – ничем, кроме собственного золотого веса. От сочетания с узкими бедрами они только выигрывали. Они были хороши в анфас и в профиль, спереди и сзади, сверху и снизу. Я не мог на них налюбоваться. Особенно трогала едва заметная асимметрия их встречного взгляда. Осмелившись, я, наконец, спросил:

– Ты знаешь, что они у тебя косят? – Образ я похитил у Бабея.

– А, это после операции...

– Как, операции? Ведь они натуральные, здоровые? – затревожился я.

– Вот именно, здоровые. Пришлось урезать.

– Урезать?!

От смеси облегчения (все-таки натуральные) с разочарованием (в полном объеме они мне не достались) я расхохотался.

– Я с ними намучилась, повернуться толком не могла. Слава Богу, тут это делают, ноу проблем.

Расстались мы из-за пустяка, обнажившего подспудные расхождения. Она и тут повела себя, как американка, – по почте вернула мои книжки и отвергла виноватое предложение остаться друзьями.

История давно ушла в прошлое, но вспоминается. Может, гири были нужны для устойчивости – как противовес?

5. Мудак и зануда

Басни об этих двоих нет, но по отдельности им посвящены две жемчужины современного фольклора:

Что такое зануда? С женской точки зрения, – мужчина, которому легче отдалиться, чем объяснить, почему этого не надо делать.

Жена говорит мужу, что он такой мудак, что на мировом конкурсе муذاков он занял бы второе место. «Почему же второе?» – «Да потому, что ты мудак!...»

Сходны сюжеты (успех, он же поражение), способы повествования (вопрос-ответ) и концовки (резонерские ремарки женщин). Еще одна общая

черта – направленность не столько на житейские проблемы, сколько на природу знания.

Особенно четко это прописано в случае с занудой. Уже по жанру перед нами не просто психологический этюд, а платоновский диалог о смысле слова. Лексикографической завязке соответствует аналогичная развязка: определению рассматриваемое понятие так и не поддается. Более того, объектом безуспешной попытки истолкования служит особый склад мышления, настаивающий как раз на формальной строгости рассуждений.

В анекдоте про мудака метаязыковой момент не так очевиден (хотя выискивающее смысла «почему» появляется и здесь). Он представлен самой логикой развития сюжета, согласно которой ключевое понятие подлежит не определению, а заклинательному повторению – по принципу порочного круга.

Подобная логика называется в просторечии женской, и то, что приговор обсуждаемым интеллектуальным стратегиям выносят именно женщины, хрестоматийные представительницы иррациональной стихии, символизирует полную философскую безысходность ситуации.

P.S. Вышло, боюсь, занудно, так что придется удовольствоваться серебром. Золото дают за молчание.

6. Еще пара зеркал

Один из моих любимых рассказов Татьяны Толстой – «Река Оккервиль» (<http://www.tema.ru/trr/litcafe/tolstaya/>). Изошренной аллюзивной технике, проецирующей его героиню, знаменитую певицу ушедшей эпохи Веру Васильевну, на фигуру Ахматовой, я посвятил специальный разбор, «В минус первом и минус втором зеркале» (см. мои *Избранные статьи о русской поэзии*, М., 2005, или (<http://www.usc.edu/dept/las/sll/rus/ess/siren.htm>). Там приводится куча текстуальных, биографических и структурных доводов, а также выдержки из писем ко мне Толстой (в основном критических), но целый слой анализа остался недоработанным – архетипический.

Один топос, петербургский, я рассмотрел довольно подробно, показав, как герой рассказа Симеонов, одинокий петербургский холостяк и коллекционер пластинок с голосом Веры Васильевны многообразно ассоциирован с Петром, его строительным волюнтаризмом, гибельностью водной стихии и так далее.

Второй, культ прекрасной дамы, в статье затронут, но по имени не назван и вообще прописан недостаточно эксплицитно. Между тем, фиксация Симеонова на легендарной артистке отмечена характерными чертами этого символистского топоса: он никогда не встречал ее, мыслит ее давно

умершей и как бы существом из иного мира, тайно от всех поклоняется ей, посвящает всего себя собиранию ее записей, превращает свой дом в храм ее искусства и переживает свое наслаждение ее пением как уникальную интимную связь.

Но есть – и играет ключевую роль – еще один, третий, глубоко архетипический топос, который я упустил, слишком заиклившись на биографической демифологизации. Хотя, если подумать, на демифологизацию-то он как раз и работает.

Третий топос это комплекс мотивов, связанных с неожиданным, чудесным, иногда спасительным, чаще несущим гибель оживанием (воскрешением, возвращением, материализацией, осуществлением, приходом по вызову) чего-то, что было или считалось неживым (неодушевленным, умершим, уничтоженным, удаленным, нематериальным, условным, за пределами) – покойника (предка, бога, черта, духа, джинна, изображения, имени, знака), оказавшегося «легким на помине». Примеров множество: вызванный Фаустом Мефистофель; гоголевский портрет; статуи Петра и Командора; всевозможные английские привидения и оживающие египетские мумии; змея, выползающая из останков Олегова коня; чудовище Франкенштейна; Шариков; старик Хоттабыч; мадам Бовари, в фантастическом рассказе Вуди Аллена выписываемая из флорберовского романа, быстро наскучивающая герою и, наконец, отсылаемая обратно. Особенно эффективны, конечно, сюжеты последнего типа, построенные по принципу «за что боролись, на то и напоролись», к которым относится и ситуация в «Реке Оккервиль».

Симеонов полагает Веру Васильевну давно покойной, чем-то подлежащим возвышенному, но и совершенно отвлеченному и безопасному, зависящему исключительно от него одного культивированию в качестве реликвии, но вдруг оказывается, что она жива-здоровехонька и вполне и даже угрожающе телесна, ибо входит в его жизнь самым непосредственным, но никак не лестным, не возвышающим и не одухотворенным образом – как пользовательница его ванной.

Совмещение этих трех комплексов в рассказе, намекающем на Ахматову, очень органично. Петербургские мотивы и топика прекрасной дамы комментариев не требуют, да и оживание духов прямо-таки подсказывается всей атмосферой ахматовской поэзии, в особенности «Поэмой без героя». Фокус, часто применяемый пародистами, состоит в том, что излюбленный автором ход обращается против него: на этот раз оживающим монстром оказывается сама героиня, артистка, прекрасная дама, *alias* – Ахматова.

6.5. Полевая лингвистика

Дамочка была немолода, но держалась уверенно. В сантамоникском магазине морепродуктов она повосхищалась моим новым шлемом, купила, что надо, и удалилась.

Садясь на велосипед, я услышал настойчивые гудки. Из-за руля мерседеса мне делали знаки. Я подъехал.

– I am picking you up («Я вас подклеиваю»), – сказала она.

По-русски эти сладостные речи немыслимы в 1-м лице, но ей как англофонке было виднее. Тем более – как голливудской сценаристке, каковой она оказалась при кратком ближайшем знакомстве.